



*Позиция автора не обязательно совпадает с позициями вымышленных героев романа.*

## **Глава первая**

— Посиди здесь и подумай о своем поведении.

Дверь закрылась, снаружи повернулся ключ. Маша Григорьева осталась одна в просторной комнате, где не было ничего, кроме фанерных щитов наглядной агитации, прислоненных к стене, пыльных рулонов бумаги, сваленных в угол, голый ослепительной лампочки под потолком, сизого ночного окна с ключьями ваты между рамами и чугунной батареей.

— Вот и отлично! — прошептала Маша, обращаясь к запертой двери, за которой слышны были тяжелые шаги и скрип половиц. — Я простужусь, у меня будет воспаление легких, и тебе, Франкенштейн, придется отвечать.

Шаги затихли. Маша потрогала облупленное ребро батареи. Оно оказалось чуть теплым.

Пять минут назад Франкенштейн выдернула ее из-под одеяла, отняла фонарик, книжку и даже не дала надеть тапочки, потащила за руку вон из спальни по пустому полутемному коридору, потом по лестнице на третий этаж. Маша ужасно удивилась. Такие воспитательные меры были для нее экзотикой. Она решила не возражать и не задавать вопросов, ей стало интересно, куда ее тащат и что произойдет дальше.

За три дня, проведенные в санаторно-лесной школе, она узнала несколько непреложных правил. Самый важный человек в этом заведении — воспитательница старших классов Раиса Федоровна Штейн, по прозвищу Франкенштейн. Есть

вещи, которые ее бесят: декоративная косметика, жвачка и чтение после отбоя под одеялом при свете фонарика.

Вчера утром, обыскивая тумбочки в спальне девочек, Франкенштейн обнаружила у Маши помаду, правда гигиеническую, но она не вникала в детали. В специальной тетрадке против фамилии «Григорьева» появилась жирная красная точка. После обеда соседка по столу угостила Машу мятной жвачкой. Франкенштейн шла навстречу как раз в тот момент, когда Маша запихивала в рот белую гибкую пластинку. Тут же появилась вторая точка, жирнее первой.

— Ну все, Григорьева, — предупредила соседка, — еще одно замечание, и ты труп.

— Она что, правда детей жрет? — небрежно уточнила Маша.

— Не всех. Только девочек старших классов, и то после третьего замечания.

В десять вечера Франкенштейн погасила свет в палате. В десять сорок зашла проверить, все ли спят. Маша дождалась одиннадцати, зажгла под одеялом свой фонарик, чтобы почитать. Она читала Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» и так увлеклась, что не услышала тяжелых шагов.

Вот, оказывается, как обращаются с детьми в этом оздоровительном заведении, если, конечно, можно назвать ребенком совершенно самостоятельную девочку тринадцати лет, умницу, отличницу, которая свободно говорит по-английски, читает в подлиннике Уайльда, Моэма и Голсуорси. Никто никогда не хватал ее за руку и не волок, как нагадившую собачонку. Никто никогда не запирали ее ночью в холодной комнате, босу, в ночной рубашке.

Неделю назад мама и отчим Маши Григорьевой попали в аварию, вроде бы не слишком серьезную, тем не менее оба лежали в больнице, к ним не пускали из-за карантина. Бабушка Зина решила быстренько сбегать Машу в эту паршивую лесную школу.

С первого же дня Маша стала обдумывать план побега. Ей хотелось увидеть маму. Она не знала, где именно мама

лежит, но надеялась выяснить это, обзвонив из дома по телефонному справочнику все московские больницы.

Она понимала, что отсюда, из деревни Язвищи, добраться до Москвы без посторонней помощи довольно сложно. Не в том дело, что далеко (двадцать минут на автобусе, тридцать минут на электричке). Просто у Маши не было денег. Ни копейки. В лесной школе не разрешалось детям иметь наличные деньги, и верхнюю одежду держали в запертом помещении, выдавали только на время прогулок. А на прогулке всегда рядом Франкенштейн. Попробуй сбеги. Это закрытое заведение, черт бы его подрал, детское оздоровительное учреждение санаторного типа. Бабушка Зина страшно гордилась, что устроила сюда Машу, совершенно здорового подростка, по большому благу. И если Маша сбежит, бабушка ей этого никогда не простит.

Холод начал потихоньку поедать босые ноги. Такому лютому холоду хватит часа, чтобы сожрать человека целиком и обглодать косточки. Когда откроют дверь, вместо Маши Григорьевой найдут сосульку, прозрачную и неподвижную. Вот тогда они все забегают, засуетятся, им станет не просто стыдно, а мучительно стыдно. Они с позором уволят Франкенштейн, лишат ее диплома педагога и разжалуют в уборщицы. Всю оставшуюся жизнь Раисе Федоровне придется ронять слезы в ведро с грязной водой, повторяя: «Григорьева, прости меня!» Ответом ей будет мертвая тишина.

Маша тяжело вздохнула, обошла комнату, подергала дверь, припала к замочной скважине и поняла, что ключ торчит снаружи. В коридоре было тихо. Школа спала. Франкенштейн, вероятно, полетела на метле на шабаш нечистой силы и теперь водит хороводы вокруг костра со своими подружками-ведьмами. Над костром висит огромный кипящий котел, в нем варится ароматный супчик из злостных нарушителей дисциплины. По сравнению с теми, чьи расчлененные тела кипят в этом котле, Маша Григорьева устроилась вполне сносно.

Она развернула один из пыльных плакатов, постелила на занозистый ружий пол у батареи. На плакате толстощекий

мальчик увлеченно поедал бутерброд с колбасой. Красная крупная надпись под мальчиком гласила:

«Школьные завтраки — дело серьезное, вам поскорее помогут они вырасти умными, сильными, взрослыми, так как полезны и очень вкусны!»

Старая бумага противно шуршала, обдавая пылью. Сквозь оконные щели сильно дуло. Маша обнаружила, что оба шпингалета, верхний и нижний, сломаны, закрыть окно плотней невозможно. Она уселась на корточки на плакат, обхватив руками плечи и прижавшись спиной к батарее. Жестко, неудобно, но все-таки немного теплей.

Лесная школа занимала старинное трехэтажное здание, до восемнадцатого года бывшее усадьбой купцов Дементьевых, владельцев деревни Язвищи. Купцы строили себе дом два века назад добротнo и красиво, в стиле раннего классицизма. Дом стоял на холме, окруженный яблоневым садом. Дальше простирались поля, отороченные у горизонта тонким черным кружевом леса. В тишине ясно слышался гудок электрички. Сыпал снег, крупный, липкий, первый снег 1985 года.

Постепенно снегопад превратился в настоящую вьюгу. Ветер выл все громче. Под его порывами хлипкая оконная рама трещала, тихо и грустно позванивало стекло. Маша взглянула на маленькие наручные часы, папин подарок. Она никогда не расставалась с ними, не снимала даже в ванной. Они были водонепроницаемые.

Десять минут первого. Сейчас должна прийти Франкенштейн. Она же не может оставить здесь ребенка до утра. Это все-таки санаторий, а не колония для малолетних преступников.

Глаза слипались. Съежившись у батареи, Маша натянула рубашку на колени, почти согрелась и даже задремала. Сквозь тонкую зябкую дрему она думала о том, что ее родной отец ни за что не сел бы за руль пьяным, как это сделал отчим, который разбил уже третью по счету машину. Он привык, что ему все дозволено. Стоит ему высунуть свою популярную физиономию из окошка, и гаишники, вместо

того чтобы штрафовать, отдают честь. Ни у кого в Машинном классе нет дома видеомэгнитофона, никто не отоваривается в «Березке» на Большой Грузинской. Маша только и слышит: «Вчера видели твоего папу по телевизору... В последнем «Огоньке» твой папа на обложке». Она уже устала повторять, что никакой он не папа, а отчим.

Ее родного отца зовут Григорьев Андрей Евгеньевич. Они с мамой развелись, папа сейчас где-то за границей, по работе, но это ничего не значит. Маша никогда не станет дочерью нового маминого мужа, народного артиста, лауреата всяческих премий, и отчество свое ни за что не изменит, и фамилию его знаменитую ни за что не согласится взять. Это только для телеэкрана и журнальных обложек он такой классный. А на самом деле он надутый индюк, самоуверенный болван и пьяница. То, что он рискует собственной жизнью, — его личные трудности. Но жизнью Машинной мамы он не имеет права рисковать, придурок несчастный.

То ли ветер выл слишком громко, то ли Маша правда уснула, но скрежета ключа в замочной скважине она не услышала. Дверь открылась с легким скрипом, и тут же закрылась. Ключ повернулся в замке, уже изнутри. Маша проснулась оттого, что какая-то липкая холодная гадость прикоснулась к ее лицу. У рта что-то металлически звякнуло. Она распахнула глаза, хотела крикнуть, но не сумела. Рот ее был заклеен широким куском лейкопластыря. Напротив нее сидел на корточках худой ободраный мужчина неопределенного возраста. Он смотрел на Машу и улыбался. Зубы у него были редкие, кривые и какие-то рыжие, череп обрит наголо. Даже глаза у него были лысые, ни бровей, ни ресниц. Под бурой телогрейкой виднелась мятая фланелевая ковбойка в красную клеточку.

Он мог показаться сумасшедшим, если бы не внимательный спокойный взгляд, взгляд разумного существа, возможно, даже более разумного, чем Маша. Он смотрел на нее с радостным любопытством исследователя, как орнитолог на двухголового воробья.

Плотная трикотажная ночнушка была натянута на колени. Кисти рук скрещены и спрятаны в длинных рукавах. Получалось, что Маша самое себя связала, и не могла двинуться. При первой же попытке высвободить руки лысый легонько уперся ножницами в ее шею и отрицательно помотал головой. Ножницы медленно поползли от шеи вдоль щеки к глазам, длинные блестящие лезвия раскрылись и тут же закрылись, выразительно щелкнув. Он продолжал улыбаться. У него воняло изо рта. Не перегаром, он не был пьяным. Он был даже слишком трезвым. От него исходил ни с чем не сравнимый смрад. Наверное, именно так воняли зомби из «Ночи живых мертвецов». Маша однажды сдуру посмотрела этот ужастик по видео, от начала до конца, и сколько потом ни убеждала себя, что это всего лишь фильм, не могла спать целую неделю.

На секунду ей пришла в голову утешительная мысль, что лысый урод в ватнике ей снится. Просто в мозгах засело, как заноза, впечатление от американского ужастика. Она вообще чрезвычайно впечатлительная, и впредь с этим надо считаться, выбирая для себя фильмы и книги.

Но лысый в ватнике был слишком отчетлив для сновидения. Он вонял мертвечиной, адом, кошмаром. Ее затошнило. Она подумала, что, если сейчас вырвет, она захлебнется насмерть, потому что рот у нее заклеен. Левая рука лысого нырнула под подол рубашки. Прикосновение влажных ледяных пальцев к бедру действовало на Машу сильнее, чем ножницы. Она успела заметить, что дверь плотно закрыта и ключ торчит изнутри. Значит, если Франкенштейн все-таки явится, какое-то время уйдет на то, чтобы взломать дверь.

— Тихо, тихо, — бормотал лысый, — все будет хорошо, тебе понравится. Я быстренько, не бойся...

Он сопел все громче, и с каждым его выдохом комната наполнялась очередной волной нестерпимой вони. Резким внезапным движением он задрал Машину рубашку, продолжая внимательно смотреть ей в глаза. Это дало ей возможность вскочить на ноги, не запутавшись в подоле, и освободи-

дить руки из рукавов. От неожиданности он выронил ножницы. Липкие пальцы проворно впились в щиколотку. Маша развернулась, ухватилась за подоконник и, почувствовав опору, оттолкнулась ногами, изо всех сил дернулась вверх, словно пыталась выбраться из вонючей болотной трясины.

От порыва ветра мелодично звякнуло оконное стекло. В ноздри ударил свежий озоновый запах снега. Это было хорошей подсказкой. Она не видела, что происходило у нее за спиной, только слышала сухой грохот старых плакатов, тихую одышливую брань и нестерпимую вонь. Через секунду она взлетела на подоконник. Окно распахнулось легко, словно кто-то снаружи услужливо потянул раму на себя.

Небо казалось светлым. Ветви низкорослых яблонь, еще днем голые и черные, к ночи покрылись толстым пушистым снегом и приветливо кивали Маше. Вьюга ластилась к ней, дышала в лицо мокрой свежестью, и оставалось только переступить с подоконника на мягкий белоснежный карниз.

— Стой, стой, куда?! — удивленно и обиженно прохрипел лысый.

Очередная волна вонючки толкнула ее вперед и вниз. Если бы она успела содрать пластырь со рта, то, вероятно, закричала бы во всю глотку, падая с высоты третьего этажа. Вьюга ослепила ее, перед глазами неслась сплошная непроглядная белизна, ветер грохотал в голове. Рубашка раздулась, как парашют, и падение получилось медленным, плавным. Она не чувствовала ни холода, ни страха.

Примерно за полтора метра до земли она застряла в ветвях старой раскидистой яблони. Взрыв боли в правой кисти заставил ее опомниться. В мозгу включился и спокойно заработал какой-то новый, четкий и надежный механизм. Маша поняла, что сидит, скрючившись, на толстом яблоневом суку. Ее не изнасиловал этот лысый, только пытался. Она выпрыгнула из окна третьего этажа, но насмерть не разбилась и уже не разобьется. Самое страшное позади. Кожа на ногах и на спине ободрана, к свежим ссадинам прилипла мокрая



рубашка, рот все еще заклеен пластырем, холод лютый, но это ерунда. Главное — рука. С правой рукой случилось нечто очень плохое. Боль нарастала, от нее перехватило дыхание, и следовало переждать, когда отхлынет эта первая, оглушительная волна, здоровой левой рукой отодрать наконец пластырь и громко позвать на помощь.

Треск потревоженных сучьев затих. Правая рука превратилась в гигантский пульсирующий сгусток боли. Маша заставила себя медленно сосчитать до десяти, осторожно разжала закованную, но невредимую левую кисть, убедилась, что сидит достаточно надежно, стряхнула с лица снег, нащупала пластырь. Он размок и отошел совсем легко. Она глубоко вдохнула, чтобы крикнуть, но от холода все внутри у нее так сжалось, что вместо крика получился сдавленный, еле слышный стон.

Маша подняла голову и сквозь рябую пелену метели разглядела в ярком квадрате окна на третьем этаже силуэт лысого ублюдка. Он перевесился по пояс через подоконник. Он смотрел вниз и искал Машу. Сердце у нее дико заколотилось, ей показалось, что сейчас он увидит ее, прыгнет вниз, вслед за ней, и все продолжится. Маша не стала звать на помощь. Наоборот, она зажала рот здоровой левой рукой, чтобы не крикнуть.

Спасительный механизм опять включился в мозгу, заглушая страх, притупляя боль и все прочие невыносимые чувства. Механизм работал в ритме дикого стука сердца и отбивал только одно слово: беги!

Ей удалось почти безболезненно соскользнуть с дерева. Она ступила на снег босиком и удивилась, что ногам совсем не холодно. В последний раз взглянув вверх, она увидела пустой светящийся квадрат окна на третьем этаже.

Первые несколько шагов дались ей легко, без всяких усилий. Ей казалось, что она бежит, почти летит, не касаясь белой призрачной земли. Ей стало тепло и ужасно захотелось спать. Если можно летать во сне, то почему нельзя спать на лету? Она бы заснула, но мешал тяжелый противный топот поблизости и грубый страшный голос:

— Григорьева, совсем очумела?! Ты что тут устраиваешь, а? Так, ну-ка открой глаза, сейчас же ответь, ты слышишь меня?

Нет, наверное, она все-таки спала, летела сквозь нежную теплую метель и спала. Ей снилась Франкенштейн с башенкой на макушке. Соседка по палате говорила, что Франкенштейн запихивает в свой пучок скрученные капроновые чулки, чтобы прическа казалась объемней, и закрепляет шпильками с пластмассовыми блестящими бусинами. Эти бусины сверкали, как живые глаза в темноте. Из прически выбилась длинная тонкая прядь, ее шевелил ветер. Маше показалось, что на голове у воспитательницы сидит небольшая сумасшедшая крыса, злобно смотрит и машет хвостом. Конечно, такое могло быть только во сне.

Между тем Франкенштейн больно и грубо теребила Машу, волокла ее куда-то, мешала спать. Это было ужасно, поскольку во сне раненая рука успокаивалась, становилось тепло, уютно и совсем хорошо. Но Франкенштейн была неумолима.

— Не спи, не спи, шевелись, открой глаза, — повторяла она, трясла Машу, тревожила ее руку и добилась своего. Рука взорвалась новой, нестерпимой болью. Свет полоснул по глазам. В диком вихре закружились какие-то фигуры, загудели голоса. Маша то проваливалась в метельную мглу, то выныривала на поверхность и, хватая в том сухой шершавый воздух, шептала:

— Мама, мамочка!

До приезда «скорой» дежурный врач вколола Маше несколько кубиков глюкозы и анальгина, зафиксировала сломанную руку, обработала многочисленные ссадины.

— Как же это могло произойти? — спросила она, старательно закручивая пробку резиновой грелки с горячей водой и избегая смотреть в глаза Раисе Федоровне Штейн.

— Очень сложная девочка. Нарушала дисциплину. Мне пришлось ее наказать, я отвела ее на третий этаж, закрыла в комнате, отошла минут на двадцать, а она, видите, что натворила? Взяла и выпрыгнула из окна. Надо сообщить родителям, пусть покажут ее психиатру. — Раиса Федоровна

потрогала рыжую башню на голове, заправила длинную выбившуюся прядь, похожую на крысиный хвост, облизнула сухие губы и добавила: — Я уже пыталась им дозвониться, там никто не подходит.

Врач застыла с грелкой в руках и уставилась на Франкенштейн так, словно увидела ее впервые. В лесной школе все, и врачи, и педагоги, знали, что у новенькой девочки Маши Григорьевой мать и отчим погибли в автокатастрофе. От девочки это пока скрывали. Из родственников у нее осталась бабушка с больным сердцем, и больше никого. Существовал родной отец, но где он и как с ним связаться — неизвестно.

## Глава вторая

Весной 2000 года жара обрушилась на Москву внезапно, в конце апреля, и к майским праздникам город выглядел немного пьяным, провинциальным. В центре и на окраинах во дворах орала вразнобой дешевая эстрада. Обитатели панельных барачков высыпали на солнце во всем своем домашнем великолепии, в байковых тапках, в трикотажных шароварах и майках, нечесаные, опухшие, они расположились на сломанных скамейках, на бортиках песочниц или прямо на свежей майской траве. Они пили теплое, с привкусом пластика, пиво, чистили влажную серебристую воблу, хрустели чипсами, жмурились на солнце, незлобно матерились, травили анекдоты.

Публика посOLIDней загрузилась в автомобили и удалилась за город, возиться в огородах, перетряхивать и чистить нутро осиротевших за зиму дачных домиков.

Самые солидные, те, кто на улицах почти не появляется и украшает город благородным сиянием выхоленных иномарок, наполняет мягкой музыкой мобильных залы ресторанов, бутиков и косметических салонов, предпочли провести праздничные дни на теплых заграничных курортах.

Утром тридцатого апреля Москва пыталась выплюнуть остатки дачников, которые не решились ехать накануне из-за

вечерних пробок. Однако таких осторожных оказалось слишком много, и на основных магистралях, ведущих к Кольцевой дороге, теснились огромные стада машин.

Светлана Анатольевна Лисова, одинокая полная дама сорока восьми лет, не принадлежала ни к богатым, ни к бедным, ни к средним. Она не имела ни машины, ни дачи, хотя честно трудилась с юности, и даже сейчас, в праздник, ехала не в гости, не в кино, а на работу. Из окна троллейбуса Светлана Анатольевна смотрела на легковушки на встречной полосе. Троллейбус застрял перед въездом на мост, отделявший Ленинградский проспект от Тверской-Ямской улицы. Пробка была двусторонняя, сплошная, безнадежная. Водитель открыл передние двери, и салон почти опустел. Светлана Анатольевна не собиралась выходить и нырять в метро. Ей нравилось сидеть на переднем сиденье, спиной к водительской кабине, и с высоты троллейбусного роста разглядывать легковые машины.

Московская пробка уравнивала всех. Шикарные иномарки с затемненными стеклами и озонированными салонами, «Москвичи» и «жигулята» с грузовыми решетками на крышах, набитые детьми, собаками, стариками, скромным семейным бараклом, все вынуждены были стоять, ждать и нервничать. К концу праздников обещали дожди, резкое похолодание, и каждый час этого теплого ясного утра был драгоценен.

Солнце ударило в стекло, Светлана Анатольевна поморщилась, надела темные очки, отвернулась от окна, уткнулась в книжку, которая лежала поверх ее объемной хозяйственной сумки. Это был роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», любимое ее литературное произведение, впервые прочитанное в четырнадцать лет и к нынешним сорока восьми выученное наизусть. Разными изданиями романа была занята целая полка в ее книжном шкафу. Сегодня она прихватила в дорогу новую дешевенькую книжицу в мягкой пестрой обложке. Прихватила машинально, не собираясь читать в транспорте, скорее как талисман, но из-за пробки все же раскрыла наугад и очутилась в Англии первой половины девятнадцатого века,